

ПЕТРОВ КРЕСТ, или О ПОЛНОМОЧИЯХ ЗАБВЕНИЯ

Доктор филологических наук Иван ПЫРКОВ.

Мы — дети того и другого века; мы — поколение рубежа.

Андрей Белый

...Есть такое выражение — «трава забвения». Корнями уходит к древним временам. В древнегреческой мифологии упоминается волшебное снадобье против грусти «непенф», восходящее то ли к хищному тропическому растению непентес, то ли к горькой полыни... Нашей?

В сегодняшнем понимании «порастить травой забвения» — значит, исчезнуть из памяти человека, общества, быть забытым...

Тихо и торжественно, будто свершая некое священное действие, старый учитель знакомил нас, путников-экскурсантов (запутавших по дороге к селу Прислониha, в пластовские места под Симбирском, на тряском редакционном газике), с деревьями тенистого, вольно разросшегося сада в Медянском — названными в честь его любимых учеников, вернее сказать, навсегда оставшихся в учительском сердце:

— Вот Елена, вишен королева. Этот — Тимоша, баловник, опять играл с ветром и руку-ветку себе повредил, а забинтовывать — мне. Ярослава. Эта вечно опаздывает. Видите, яблоки на ней всё ещё зелёные...

Потом мы пили с голубоватым отливом ледяную воду — в дом она поступает по деревянным желобочкам прямо из родниковой жилы, — а Илья Ильич (так звали учителя), покачивая седой головой, под стать здешним меловым породам, рассказывал. О том, что живёт совсем один в бывшей школе, что все поразъезжались, что и он бы не остался, да только школьный сад с «учениками» бросить не может. А ещё говорил о русской литературе, о сбережении наследия. Хорошо говорил! Без высоких слов.

Не так давно это было, не до отцовских «памятей», во всяком случае, хотя многое успело забыться. Но иногда я вновь чувствую тот самый, с терпкой кислинкой, серебряный привкус. И даже ощущаю, как скрипит на зубах, сведённых то ли холодом, то ли чьим-то жгучим словом, белоснежная песчинка медянского родника...

...Зубы ломит от великолепных стихов Вильгельма Кюхельбекера. Не хуже, наверное, чем от вдохновляющей воды Кастальского ключа! Пронзительные строки, за которыми и сейчас слышно, как бьётся голос «людьми гонимого певца». Предельные по уровню пульсирующей откровенности раздумья, когда автор, говоря его же словами, «надеждой время упреждает».

В стихотворении «19 октября 1837 года» Кюхельбекеру удаётся, кажется, невозможное. Поэт создаёт посмертный образ Пушкина, не имеющий ничего общего с навеки застывшей в муках его посмертной маской:

*Он воспарил к заоблачным друзьям.
Он ныне с нашим Дельвигом пирует;
Он ныне с Грибоедовым моим:
По ним, по них душа моя тоскует;
Я жадно руки простираю к ним!*

Невзирая на всю трагическую безысходность стихотворения, где речь, по сути дела, идёт о невозможности жизни без Пушкина, как раз Пушкин-то, пирующий с заоблачными друзьями, выходит у Кюхельбекера весёлым и жизнеутверждающим. «Получив твою комедию, я надеялся найти в ней и письмо. Я трёс, трёс её и ждал, не выпадет



Источник: biolib.de

Lathraea squamaria. Рисунок из книги: Anton Joseph Kerner von Marilaun, Adolf Hansen. *Pflanzenleben. Erster Band: Der Bau und die Eigenschaften der Pflanzen* — Leipzig: Bibliographisches Institut, 1913.



Фото Ирины Яровой / Фотобанк Лори



*Вильгельм Карлович Кюхельбекер
(1797—1846).*



*Антон Антонович Дельвиг
(1798—1831).*

ли хоть четвертушка почтовой бумаги; напрасно...» — вот-вот скажет, лукаво глядя на друга, Александр Сергеевич. И тихо прибавит: «Да сохранит тебя твой добрый гений...»

«Да знаете ли вы, какие у Кюхельбекера есть стихи?! Пушкинские!» — воскликнул однажды строгий ценитель поэзии Корней Чуковский. А и правда сказать, знаем ли? Помним ли?

Благодаря усилиям Юрия Тынянова забавное прозвище Кюхля знакомо сегодня... почти всем. Но если бы исследователь по каким-либо причинам не выполол много-рядно растущую траву забвения вокруг дорогого его сердцу имени — что тогда?

Передо мной книга стихов В. Кюхельбекера, изданная в серии «Библиотека поэта» в предвоенном 1939-м... Вступительная статья, бережная редакция и событийные примечания Ю. Н. Тынянова. И вот я думаю: вся недолгая жизнь Юрия Николаевича — яркий пример борьбы с беспамятством. Успешной борьбы, продолженной по царскосельской, так сказать, линии В. Орловым, В. Мещеряковым, Л. Пашкиной, Н. Королёвой, В. Куниным и многими другими подвижниками. Ведь какие замечательные книги выходили — и выходят! — в нашей стране! Избранные произведения В. Кюхельбекера, А. Дельвига... С комментариями, вступительными статьями... Да только вопрос: сумеем ли сегодня прочитать по памяти хотя бы одно

стихотворение Кюхли? Спеть куплет из романсов на дельвиговские стихи? И даже если вспомним волшебное:

*Соловей мой, соловей,
Голосистый соловей,*

— вряд ли представим фигуру Антона Антоновича, «ленивого баловня», немного сутулого, тучного, в круглых очках.

Одно дело — помнить и совершенно другое — самонадеянно думать, что помнишь. Забыть, так и не узнав. Мы разве читали стихи Дельвига от и до? Пусть немного успел создать он, но не количеством же строк определяется удельный вес созданного!

А может, и не нужно держать золотые запасники слова в голове, незачем забивать память? Информации полно, она доступна, один клик — и полная выкладка: кто, когда, что написал... Как это в «Борисе Годунове» Шуйский расчётливо замечает:

*Теперь не время помнить,
Советую порою и забывать.*

У Пушкина, в отличие от его героя-царедворца, иная, я бы сказал, запятая зрения. В письме к Александру Бестужеву, оценивая помещённый в «Полярной звезде» обзор русской литературы, Пушкин взволнованно вопрошает: «Как можно в статье о русской словесности забыть Радищева? Кого же мы будем помнить?»



Александр Николаевич Радищев
(1749—1802).

Вот и мне в статье о всё более и более расширяющихся полномочиях забвения, оказывается, тоже никак нельзя обойтись без хотя бы строки об Александре Николаевиче Радищеве — «рабства враге», страдавшем право на то, чтобы о нём и о его героической борьбе, по меньшей мере, не забывали. Но в какой мере учитывает коллективная память современного общества «особое мнение» Радищева?

За четыре месяца до смерти так и не сломленный Радищев смел утверждать: «...цена крови человеческой не может определена быть деньгами».

«Путешествие из Петербурга в Москву» дошло до первых своих читателей без подписи. Что ж, может быть, Радищев внутренне готовил себя к уделу безымянного автора? Но могло ли не предстать его имя пред грозные очи императрицы, если оно буквально пылало огненным тавром на каждом листе «Путешествия...»?

«Да вот ведь какая насмешка. Всю жизнь потреблял горячее, а умираю от холодного», — нашёл в себе силы на шутку Ермил Иванович Костров, сгорая в ознобе не то перемежающейся лихорадки, не то белой горячки. Так звучат слова русского поэта с пламенной фамилией! По меткому замечанию историка литературы Петра Полевого, это был «первый русский литературный неудачник», который в конце своей короткой жизни, «питаясь

от одной литературы, влачил весьма бедственное существование, кажется, даже не имея <...> определённого угла». Стоит ли говорить, что оды, стихи, «эпистолы» и переводы Кострова в наши дни помнят лишь единицы.

Поначалу критика XVIII века не скупилась на восторженные отзывы, именуя Кострова за подвижнический для того времени перевод «Илиады» стихотворцем, «усыновившим Гомера России». Ни больше ни меньше. Но позднее заметно остыла к поэту, чувствуя с его стороны прохладное отношение ко всевозможным литературным собраниям. Хотя энергичная костровская строка и теперь не утратила силы поэтического огня:

Где мрак невежества нелепый?
— «Расторжен мудрости лучом».
Где дух злобедный и свирепый?
— «Сражён отмицения мечом».
Где лицемерия завеса?
— «Сокрылась в тьму густого леса».

Сокрылась... Такой вот Город солнца костровский.

Всё не просто и вместе с тем волшебнопричудливо складывалось у Ермила Ивановича. Родился в селе с удивительным названием Синеглинье. Это Вятка, Вятская губерния. Будучи сыном дьячка, окончил семинарию, а после — Славяно-греко-латинскую академию в Москве. Легко сказать — окончил. Строчка биографии, не более. Но ведь до Москвы нужно было ещё добраться! А на что? Отец и мать умерли, когда Костров был ещё маленьким. Синеглинский священник Иосиф, знавший родителей мальчика, заботился о нём, учил, помог окончить Вятскую духовную семинарию. А дальше — сам. Только сам. И вот где пешим ходом, где на обозе добирался Ермил до Москвы, тут покормят его, там прогонят... В оборванной одежде, смертельно усталый, смог Костров пробиться на встречу к архимандриту Иоанну, земляку. И сил хватило только, чтоб протянуть дрожащей рукой лист с написанной одой. Посмотрел архимандрит строго, прочитал первую строку, покачал головой и — решил помочь...

Потом была академия, Московский университет, блистательные переводы из Апулея... И горький упрек И. И. Шувалова,



*Ермил Иванович Костров
(1755—1796).*

по преданию спросившего как-то Кострова: «Не стыдно тебе, Ермил Иванович, что променял дворец на кабак?» На что поэт отвечал: «Побывайте-ка, Иван Иванович, в кабаке. Право, не променяете его ни на какой царский дворец!»

Когда накануне каких-нибудь торжеств Московскому университету, например, нужно было в краткий срок заполучить «похвальную» оду, начинались поиски Ермила Ивановича — по всем кабакам Москвы. На работу ему, обыкновенно, давали ночь, и он справлялся с заданием вдохновенно, как никто бы не смог. А потом всё начиналось снова... Какая уж тут служебная карьера или счастливая семейная жизнь? Костров сгорел в огне собственного характера и равнодушия окружающих. А забвению, чтобы вступить в свои постылые права, только это и надо.

Так-то оно так, конечно. И всё-таки, на отраду, историк литературы Виктор Бердинских распахнул однажды тяжкие запоры архивов и написал книгу о жизни и творчестве Кострова «Он был Поэт не ложно...». И трава забвения поредела. «Перед Ермилом Костровым и лучшими писателями его поколения жизнь поставила сложные и острые проблемы. Многие из того, о чём они думали, спорили, оставалось животрепещущим многие десятилетия. В этой атмосфере исканий, борьбы, напряжённой работы мысли развивались национальное

русское самосознание, национальная русская культура. Именно поэтому судьба и творчество Ермила Кострова неразрывно связаны с нашим настоящим и нашим будущим», — подчёркивает Бердинских.

В будущем часто рождались Костровы. Сгорание талантов стало символичным для нашей литературы, для нашего искусства. Мне почему-то участь Ермила Ивановича напоминает трагические перипетии судьбы Антона Сорокина — величайшего во всей Сибири чудака и оригинала времён Гражданской, скромно называвшем себя «Королём писателей». Чёрные усы, круглые очки, небрежная причёска. Изучал иконопись. Торговал солью. «Ненормальный», «не от мира сего»... Сорокин мог расплатиться на рынке собственной валютой, мог именовать себя «Кандидатом Нобелевской премии», мог устроить «заборную выставку». Или расклеить на улицах родного Омска объявление: «Сегодня здесь пройдёт мозг Сибири. Король писателей Антон Сорокин раздаст подарки». Подарки действительно были — пуговицы с сорокинской рубахи... А как он номинировал сам себя на Нобелевку, и ему ответил один только король Сиам: нет, написал, возможность перевести присланные книги на английский!..

Когда Антон Семёнович выступал, он зажигал свечку даже среди ясного дня и устраивал её в подсвечнике таким образом, чтобы талый воск, медленно сползая вниз, образовывал подобие букв — инициалов писателя и художника.

Умер Антон Сорокин рано, в сорок три года. Как вспоминает друг Антона Семёновича Всеволод Иванов, Сорокин полагал, что рукописи не горят и обязательно пробьются к читателю. Оказалось, горят — да ещё как. Однажды в доме Сорокина случился пожар и многие рассказы, стихи, картины сгорели. Впрочем, архив оказался настолько велик, что после смерти писателя книги стали издавать, музеи заинтересовались картинами. В двадцать первом веке интерес к творчеству Антона Сорокина сохранился: в Омске выходят его книги, в журналах публикуются очерки Марка Юдалевича о жизни и творчестве писателя-художника, замечательные вступительные статьи к книгам Сорокина пишет профессор В. С. Вайнерман.

И всё же мы, в большинстве своём, думаем, что помним, думаем, что знаем.



*Антон Семёнович Сорокин
(1884—1928).*



*Василий Васильевич Капнист
(1758—1823).*

Самонадеянно думаем. И внушает нам эту самонадеянную уверенность не трава ли забвения...

Как высоки и душисты травы на речном берегу! Раннее-раннее утро, река Псёл, тихое село Обуховка. Восемнадцатый век. С лёгкой удочкой за плечами, по узкой росной тропинке к реке спускается поэт и драматург Василий Васильевич Капнист. Где-то там, позади, остался шум вокруг «Ябеды» — одного из рискованнейших произведений отечественной драматургии. Почти забыт гнев Павла I, сперва, в запале, отправившего Капниста в Сибирь, а после решившего всё-таки посмотреть комедию самолично. Посмотрел, посмеялся, пришёл в хорошее расположение — для него одного играли спектакль актёры Эрмитажного театра! — и помиловал автора. Да не просто помиловал — назначил директором всех императорских театров Петербурга. Вот судьба: «ссылочной Сибири холод» вмиг сменился для Василия Капниста теплом императорской милости.

А что там с «Ябедой» за история? Непосредственным поводом к написанию комедии послужил судебный процесс, где речь шла об имении Капниста в Саратовской губернии. Крючоктворство, взятки, круговая порука чиновников... Впрочем, «русский Аристофан» изобразил произ-

вол бюрократии в общегосударственном масштабе.

Но что все эти гневные молнии и милости власть имущих, если вот-вот заплещет на тихой воде утренней реки «наплавок»?

В родной Обуховке Василия Васильевича любили все. Он заступался за крестьян, помогал им, учил их детей. Когда становилось ему известно о произволе исправника, например, или ещё кого, Капнист «тотчас же относился к начальству, требуя справедливости, за что все в деревне не называли его иначе как отцом своим». Об этом вспоминает дочь писателя. И она же рассказывает, что на берегу реки рос древний берест — патриарх древес. Василий Васильевич души не чаял в нём, мог целый день говорить со старым деревом, подолгу сживал в его тени. А когда берест в бурное половодье был сломлен напором воды, Капнист попросил вытащить его из реки, распилить на доски и сохранить их для своего гроба. Что и было исполнено. И тогда же, в ту половодную весну 1822 года, написал Василий Капнист стихотворение «В память береста», где есть такие строки:

*Но Псёл скоплёнными струями,
Когда весенний таял снег,
Усиля свой упорный бег,
Меж преплетёнными корнями
Под берестом смывает бег.*

<...>

*Пришёл и твой, о берест! рок.
У корня уж лежит секира!
О скорбь! Но чем переменить?
Злой рок решил тебя истлеть,
Тебя, невинный житель мира,
И мне твоим убийцей быть!*

Что, далёк восемнадцатый век? Непонятен девятнадцатый? Но подумаем о голосе береста, об удочке Василия Капниста, о грустной костровской улыбке. О шуме и тишине былого — никогда не уходящего насовсем, в чём-то и в ком-то остающегося. «...Земля — дом миллиардов и миллиардов людей, живших до нас! — восклицал Дмитрий Сергеевич Лихачёв, и добавлял очень-очень важное: — Это беззащитно летящий в колоссальном пространстве музей <...>. Сколько всего накоплено <...>. ...сколько алмазов, которые ещё ждут, что их огранят, сделают бриллиантами». Да, без памятливого отношения, без нашего деятельного участия — прошлое беззащитно.

И ещё лихачёвское: «Память преодолевает время».

— Это я себе музей готовлю, — говорил, прохаживаясь по комнатам своего дома в деревне Низовка, Тверской губернии, старый поэт Спиридон Дрожжин. — Вот умру, музей-то и сделан.

Иные, видимо, улыбнулись бы старческой причуде «поэта-пахаря», автора хрестоматийно известной «Первой борозды», художника, чья муза, по его же собственным словам, «родилась в крестьянской избе». Но уместна ли улыбка, если учесть, что и поныне существует «Дом-музей поэта-крестьянина С. Д. Дрожжина»? Только вот находится он в Завидово, ибо в один прекрасный день, когда, разумеется, Спиридона Дмитриевича уже не было на свете, состоялось прощание с Низовкой, оказавшейся на дне Иваньковского водохранилища.

Подумалось сейчас: как много осталось в нашей культуре на дне, под толщей воды, под непроглядными свинцовыми волнами. Архангельское, где получал первоначальное образование Иван Гончаров, знаменитая вотчина графа Орлова село Головкино, которое посетила в 1767 году Екатерина Великая, Тургенево, где провёл не один год директор Московского университета (1796—1803) Иван Петрович

Тургенев, а в советское время, в Великую Отечественную, учился один из лучших волжских поэтов Николай Благов. Да что сёла! Целые города с невозвратной культурой, с церквями, уникальными архитектурными памятниками были поглощены пучиной — Молога, Корчева, Калязин, Весьегонск, Китеж...

Распутинская Матёра — это символ, конечно. Но только чего: забвения? или всё-таки взыскующей памяти?

Памятливо, ярко пишет Вильгельм Кюхельбекер, хоть и с громким, не очень-то одобряемым Пушкиным, романтическим надрывом: «Пророков гонит чёрная Судьба; // Их стерегут свирепые печали; <...> // Того в пути безумие схватило, <...> // Томит Другого дикое изгнание; // Мрут с голоду Камоенс и Костров; // Шихматова бесчестит осмеянье; // Клеймит безумный лепет остряков, — // Но будет жить в веках певец Петров!»

«Певец Петров» — это князь С. А. Шихматов-Ширинский, талантливый автор поэмы «Пётр Великий», не раз подвергавшийся нападкам критиков за приверженность к стародавнему слогу, к архаике. Но примечательно, что некоторая шаткость кюхельбекеровской строки может спровоцировать ошибочное, но интересное тем не менее её толкование. Тут вот какое дело: благодаря горячности Кюхли и ещё, быть может, тому, что всё в нашей жизни и тем более в истории нашей словесности взаимосвязано, из темноты небытия медленно проступает давно забытое нами имя Василия Петровича Петрова — придворного сочинителя Екатерины II, иронично называемого многочисленными его противниками «пиитом» и «певцом», «карманным сочинителем» императрицы.

Судьба Василия Петрова поистине уникальна. Во всех запасниках и реестрах русской поэзии вряд ли найдётся пример столь ослепительной личной известности при жизни и столь беспросветного забвения после смерти. В каком неведомом храме муз сверкают теперь золотые табакерки — щедрая плата Екатерины её собственному одописцу? В каких позабытых ночных небесах сияет Луна, которую Петров, по меткому наблюдению Капниста, тоже раздражённого вычурностью петровского стиля, стремился «во стихах своих... зубами ухватить».

И впрямь ухватывал! Поэзия Петрова, непостижимым образом соединяющая лирический строй ломоносовских од с намеренной архаизацией и без того тяжеловесной лексики Тредиаковского, готова удивить современного, избалованного всяческими новациями, читателя. Вот Петров воспевает императрицу, которая «премудростью многоочита», вот остроумно упрекает сановника в том смысле, что «душ много за тобой, а хуже всех твоя», вот обращается как будто бы к нам с вами — прямо здесь и сейчас:

Я прах теперь, моя жива ль то в свете честь;
Молю, стихи мои не дайте моли съестъ.
Но дойдёт ли сия к потомкам челобитна,
То тайна, никому из смертных неиспытна.



Василий Петрович Петров
(1736—1799).

Жизнь Василия Петрова целиком и полностью принадлежит XVIII веку — с его просвещением и тьмой крепостного права, искусным гримом и гримасами боли, изящными театральными сценами и кровавым театром военных действий, всё более отчётливой поступью усиливающейся государственной власти и всё более вкрадчивыми шагами дворцовых переворотов. Самое первое выступление Петрова в литературе, «Ода на карусель», получило неслыханно высокую оценку от века Екатерины в её же собственном лице: «Среди наших молодых авторов невозможно пройти молчанием имя В. П. Петрова <...>. Сила поэзии этого молодого автора уже приближается к силе Ломоносова, и у него более гармонии <...>».

Каруселью, вернее, «каруселем», называли тогда состоящее в езде верхом и на колесницах яркое костюмированное празднество с обязательным участием видных государственных мужей. А за плечами Петрова имелись не только блестящие навыки классического образования, но и стружья, оставшиеся после жестокого наказания за какой-то незначительный проступок, совершённый им в стенах всё той же Славяно-греко-латинской академии, откуда он, семнадцатилетний, бежал и куда вернулся, чтобы с отличием её окончить и стать ведущим преподавателем. Целеустремлённый, честолюбивый и уже науценный горьким жизненным опытом, Петров прекрасно

понимал: «Ода на великолепный карусель, представленный в Санкт-Петербурге 1766 года» может стать для него судьбоносной.

Так и произошло. Петров был призван ко двору и сделан переводчиком при кабинете её величества, а также личным чтецом и официальным одописцем императрицы. А значит, обрёл редкую возможность высказываться в литературной форме по всем важным для государства и волнующим его лично вопросам и быть уверенным, что он будет услышан. Благо он обладал, как отражено во многих воспоминаниях, «сочным» голосом. И поэт старался смягчать нравы, по-своему влиять на Екатерину: истинная правительница, писал он, должна щадить «как мать, своих людей».

Всё складывается замечательно для поэта, имя его сияет, ему завидуют белой завистью. И чёрной иногда. Но милостивая судьба, как это часто бывает, вдруг отворачивается от Петрова. Во время пути из Ясс в Николаев, в степи, под раскидистым деревом, на простом походном плаще умирает его друг и покровитель Григорий Александрович Потёмкин. «Он был тот орёл, — скажет Петров, — на плечах которого сидя, я пел, не боясь ветров и бурь, не боясь молний и громов <...> и он не уронил меня, но крепко берёт». А дальше ещё одна, невосполнимейшая, потеря: умирает маленький сын поэта Николай. Петров пишет стихотворение «Смерть моего сына», где предстаёт совершенно иным поэтом, иным

человеком. В нём словно бы за несколько дней обнажается то, что он был вынужден тщательно скрывать в силу известных обстоятельств долгие годы. Больше не нужны пышные слова, хвалебные речи. Всё теряет смысл. Голос Петрова вдруг обретает почти некрасовскую пронзительность, его строка становится напряжённо-короткой, словно оставшаяся жизнь:

*Душа велика в теле малом,
О, как он люту скорбь сносил,
И коим ограждён забралом,
Явил в борьбе с ней столько сил?*

*Не вышла вздоха ни едина,
Боль тщился в сердце запереть.
Седый отец! учись у сына,
Как должно мужу умереть.*

Василий Петров умер в 1799 году, когда вместе с Пушкиным рождался действительно Золотой век русской литературы, в светозарных лучах которого суждено было померкнуть и обнаружить свою истинную бедность всем пышным позолоченным украшениям, всем нарядам петровской одической формы. Но вот что интересно. У Пушкина, не допускающего случайностей, есть строка, где имя Петрова зачислено в одну весовую категорию с именем самого Гавриила Державина!

Державин и Петров героям песнь бряцали.

Вот так! С водопадным грохотом державинского бессмертного глагола упомянут рядом и поэтический голос «карманного поэта» Екатерины.

К слову, карманный — вовсе не обязательно маленький, второстепенный. В статье знатока русского фольклора, историка, литературоведа А. Н. Афанасьева «Великаны и карлики» рассказывается, например, о любопытном былинном ходе, когда богатырь, победитель Змея Горыныча, попадает в карман великана или... великанки:

*КакхватилаДобрынюзажёлтыкудри,
Посадилаеговоглубоккарман.*

Екатерина, если допустима подобная формулировка, стремилась создать вокруг себя лично, и государственной власти в целом нечто похожее на глубокий карман

искусств и наук. Карман просвещения и гуманности. Екатерининский кармашек бездонный от многого уберёг Россию. Именно в этом смысле, действительно, справедливо называть Петрова карманным сочинителем...

Долгое время в литературной критике велась борьба за Петрова. Его сочинения переиздавались дважды вскоре после смерти — это говорит о многом. В то же время его творчество высмеивали А. Сумароков, Н. Новиков, позже — В. Белинский, назвавший петровский слог «варварским». В советское время Петрова окрестили «реакционным представителем дворянского классицизма»: ни для школы, ни для вуза не годен... А ведь Петров переводил ещё Вергилия, о чём благожелательно писал директор Петербургской академии наук Сергей Герасимович Домашнев в 1779 году: «К сему присовокупить должно превосходный перевод господином советником Петровым на язык наш "Енеиды"».

Пожалуй, последнюю попытку воскресить интерес к Петрову неожиданно предпринял известный поэт Пётр Плетнёв, откликнувшийся на спор о жанре оды вообще, поднятый как раз Кюхельбекером, и весьма лестно отозвавшийся о звучном петровском стихе. Плетнёв пришёл к выводу, что Василий Петров за всю историю стиха «был один из лучших наших поэтов».

Один из самых известных. Один из самых забытых. Таков его крест...



...Есть такая загадочная трава лесная — Петров крест. Царской зовут её порою. Плохо изучена, ядовита. Не участвует в фотосинтезе. Всё необходимое для роста забирает у растения-хозяина. Не хищник, но такой тихий, коварный паразит, таящийся под землёй до поры. В медицине применяется с большой осторожностью (зелейщиками, впрочем, ценится). Десятилетия может оставаться где-то в глубине, на корнях лещины и ольхи. А потом пробиться на свет, расцвести ненадолго, пожухнуть и опасть в землю многими семенами. Никто не знает тем семенам числа и меры... Подумалось: а может, это и есть трава забвения? В древнем Египте — баснословный непенф. А в России — Петров крест...